

Круг чтения.

Вольные заметки о книгах и библиотеках

В первом классе мне хотелось как можно скорее осилить азбуку, чтобы записаться в библиотеку и, как это делал отец, брать домой толстые, невероятно интересные книги и с упоением читать их...

Хорошо помню день, когда я впервые переступил библиотечный порог. День был серенький, ненастный, с только выпавшим снежком, едва присыпавшим набрякшую дождями землю. Мне показалось, что передо мной, как перед мореплавателем, открылась в тот миг земля неизвестная... У меня дух захватило от пестроты книжных корешков, от запаха книг, от той благоговейной тишины, которая нарушалась лишь шелестом страниц и тихим голосом библиотекарки Тамары Ивановны... С того момента я потерял покой. Я бредил книгами и горевал, что мне дают тоненькие детские книжонки, которые я успевал прочитать на ходу по дороге домой и не разрешают, в силу моего малолетства, посягнуть на упоительно толстые фолианты с золотым тиснением на потрепанных корешках.

Читал я много и «запойно». И, надо сказать, не особенно разбирался в той книжной продукции, которая подворачивалась мне под руку, деля книги на интересные и неинтересные. В интересные попадала, например, книжка с таким леденящим душу названием - «Конец осинового гнезда», в неинтересные – «Горе от ума»...

Во всем этом я стал разбираться позднее, когда до оскомины «наелся» приключенческой литературой, обратив свои юные взоры на русскую классику, которую читаю и перечитываю поныне.

Первой книгой, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, была брошюрка из серии «Мои первые книжки» «Бой на калиновом мосту». Помню, как принес ее из детской библиотеки, которая размещалась тогда на втором этаже деревянного здания на площади в Опеченском Посаде, помню, как уже под вечер сел читать заветную книжицу, прельстившись загадочным, полным таинственного смысла, названием.

К тому времени я только что одолел азбуку, и читал медленно, по складам. Но книжка уже с первых строк настолько захватила меня, что я не заметил, как сам очутился на Калиновом мосту, вступив единоборство с Кощеем Бессмертным, как одолел его в честном бою...

Этот сизый осенний вечер с наволочью туч над заревом заката, когда я, потрясенный, оторвался, наконец, от книжных страниц, стал для меня судьбоносным. Я навсегда заболел книжной страстью.

Я был, наверное, самым настырным и надоедливым читателем, появляясь в библиотеке иной раз по два-три раза на день... Прочитаю, бывало, пока домой иду, две или три тонюсеньких книжонки, которые мне тогда по малости лет полагались, и назад возвращаюсь. И так надоел молоденькой рыжей библиотекарьше, которую мы, мальчишки, за вредность прозвали Цыпочкой, что однажды она отчитала меня и заявила, что чаще одного раза в день в библиотеку ходить нельзя...

Тогда я приноровился читать книжки в коридорчике у окошка и тут же возвращать их обратно. Помню тяжелый вздох, тень недоумения в глазах непреклонной Цыпочки, когда я в первый раз проделал этот фокус. Она смирилась со мной как с неизбежным злом и больше не придиралась ко мне. Но книжки по-прежнему выдавала строго по предписанию. Написано: «для младшего школьного возраста», вот и довольствуйся тем,

что тебе в этом возрасте положено... И поколебать ее в этом убеждении было невозможно. С этим, в свою очередь, смирился я. Но и из этого невыносимого для меня положения, в конце концов, я нашел свой выход...

Я повадился ходить в библиотеку с записками от отца. Каллиграфически исполненные, с неизменной припиской: «в просьбе прошу не отказать», они превращали твердокаменную Цыпочку в кисейную барышню, милую и улыбочивую...

- Передай Павлу Степановичу, что «Следопыт» Фенимора Купера пока на руках, а Майн Рида я тебе сейчас выдам, - щебетала она канареечным голосом, внося легкие, как росчерк птичьего пера, пометки в библиотечном формуляре, и я смутно догадывался, что причина ее уступчивости не только в изяществе отцовского почерка...

Сказать, что отец нравился женщинам, значит, ничего не сказать... Он имел над ними какую-то тайную, непостижимую детскому уму, власть, легкая тень которой витала всюду, где только ни появлялся он. Перед ним млели строгие, перетянутые ремнями и портупелями, милиционерши из паспортного отдела, ему улыбались разбитные буфетчицы в кружевных накрахмаленных фартуках, перед ним пасовала даже моя строгая, как учебник математики, учительница Анна Александровна... Статью, голосом и манерами (я это позже понял) он напоминал французского актера Жана Марэ. И отличался от него лишь легкой учительской сутуловатостью и необыкновенной страстью к чтению, чего за романтическими героями, которых играл в кино Жан Марэ, не водилось...

И я, еще маленьким, заразился от него этой благородной хронической страстью, которая не оставила меня до сих пор...

Помню, как в девятом классе нехотя читал «Войну и мир», с трудом продираясь сквозь невнятицу французской речи. За окном, не переставая, лил дождь, а я все никак не мог вчитаться в нудное (как мне тогда казалось) описание салона Анны Павловны Шерер, не мог вникнуть в ее пошлый великосветский щебет... На этом мое чтение наверное бы и закончилось, если бы я не дошел до того места в романе, когда Пьер Безухов (мне это показалось смешным: Пьер да еще и Безухов), пообещав Андрею Болконскому не бывать у Долохова, все бросает и едет к нему кутить, страдая в душе от собственного безволия.

Я сам мучился от осознания собственного несовершенства, полагая, что я один такой среди людей волевых и целеустремленных. Герои книг, коих я немало к тому времени перелопатил, все, как один, шли к своей цели и не собирались сворачивать с намеченного пути. Я же только и делал, что сворачивал с дороги, и мой жизненный путь напоминал блуждание грибника в незнакомом лесу. А тут (на тебе!) – такой же сомневающийся во всем человек, такой же, как я...

«Три мушкетера» Александра Дюма. Сарай, пронзенный солнечными стрелами... На огороде собираются сажать картошку, я слышу, как скрипит, проваливаясь колесами по ступицу, груженная навозом телега, как галдят женщины и балагурят, перекуривая, мужики... Но меня нет ни в сарае, ни на огороде, ни даже в Опеченском Посаде... Я въезжаю в Париж на взмыленном усталом коне, я влюбляюсь в мадам Бонасье...

«Робинзон Крузо» мне, помнится, дал почитать мой одноклассник Вовка Жадинский – тихий, безобидный мальчик из бедной многодетной семьи. Книжка была роскошная: толстая, хорошо иллюстрированная, с плотными страницами. Она сразу и безоговорочно пленила меня, а необыкновенная жизнь попавшего на необитаемый остров моряка из Йорка, стала как бы и моей жизнью.

«Остров сокровищ». Начало лета, мы только что вышли на каникулы. Купаться еще рано, в лес ходить – поздно, комары сожрут. «Остров сокровищ» я читал на крыше. Помню, как выглядела книжка в потрепанном переплете, принесенная, если не ошибаюсь, приятелем моим Аликом Ивашовым...

«Таинственный остров» я перечитывал раз десять. И всякий раз, доходя до последней главы, страдал от самой мысли о том, что так дивно устроенный колонистами остров Табор, сгинет в морской пучине. Понравившуюся мне книжку я, грешник, стащил в библиотеке, варварски вырвав ее из переплета...

Постыдное это «деяние» до сих пор числится у меня в череде самых черных грехов.

«Весна на Одере», «Дом на площади»... От имени автора этих так понравившихся мне повестей - Эммануил Казакевич - веет чем-то необыкновенным, зовущим. Книжку я читаю под навесом, удобно устроившись на колотых дровах. Серый мартовский день, первый или второй день весенних каникул. Крупными хлопьями валит мокрый снег, такой же, как в Германии весной сорок пятого...

«Голова профессора Доуэля». Книгу эту я читаю, только что вернувшись из Москвы, куда впервые в жизни ездил с отцом, командированным туда по каким-то непонятным мне конторским делам. Я переполнен впечатлениями, я без конца рассказываю о Москве, хотя рассказывать-то собственно и не о чем: Красная площадь, ГУМ, пахнущие резиной и клеем китайские кеды, фотоаппарат «Смена», негры в автобусах, головная боль, которой так же, как и я, мучился бедный профессор Доуэль...

«Страдания юного Вертера». Это уже позже, в пору первой (безответной, разумеется) влюбленности, когда мир сходится только в Ней, в ней одной. Бессонная ночь, потрясение от схожести чувств. А наутро – покос, зной, комариный писк, свежепросольные огурцы, яйца вкрутую, намазанный маргарином хлеб... И вселенская тоска, нестерпимая, как зной, зной того юного счастливого июля...

«Два капитана» Вениамина Каверина я читал, как минимум, трижды. Хорошо помню изданный сразу после войны объемистый том с карандашными рисунками, который я часто рассматривал у своего друга Гены Васина.

Вспомнилось мне, как читал я, оставшись по болезни дома, «Собаку Баскервилей». Дома было холодно, пусто... Бабушка копала на огороде картошку...

А я был предоставлен себе и... англичанину Конан Дойлу, нагнавшему на меня страху воем собаки на торфяных болотах, цепью страшных необъяснимых событий, в которых мало-помалу разбирался Шерлок Холмс с верным своим другом доктором Ватсоном. За окном завывал ветер, дребезжало в оконной раме плохо пригнанное стекло, треснувшее посередине... И дом, и окно и огород за окном с чередой мокрых взъерошенных яблонь – все казалось мне в тот момент зыбким и ненадежным, как гнилое болото вблизи от Баскервиль-холла...

«Мадам Бовари» я прочитал в последние дни перед армией. А еще с «Мадам Бовари» связана моя первая больничная история...

Впрочем, все по порядку: на осенних каникулах 65 года мы строили на поляне шалаш, и я, обрубая сучок, рассек топором колено, повредив заодно и новые, только что купленные матерью, брюки. Помню лёгкий ужас при виде иссиня белого, как дорогой фаянс, хряща, видневшегося в разрезе почему-то не кровоточащей раны, помню сострадательный страх в глазах друзей, мертвую тишину осеннего леса...

Домой, как римского патриция в паланкине, меня доставили на руках, сцепленных, как учили в школе, замком. Чтобы скрыть боль и страх, я смеялся и шутил без меры, и бабушка, когда обливавшиеся потом сотоварищи внесли меня в дом, сказала, невольно повторив знаменитую горьковскую фразу:

- Чего вы озорничаете-то?

- Мы не озорничаем, бабушка, - сказал я, - это я колено в лесу топором разрубил...

- Топор-то хоть цел? – нашлась, что сказать не на шутку встревоженная бабушка.

Обсыпанное стрептоцидом колено на второй день загноилось, и меня на «скорой» отправили в больницу, где, переодев в застиранную больничную пижаму, определили в большую палату, к мужикам.

В тот же вечер молодой, похожий на студента-старшекурсника хирург около часу терзал меня на операционном столе, отчищая рану от гноя и прибинтовывая ногу к проволочной лангете. Вконец истерзанного, меня отвезли в палату на коляске, переложили на больничную койку у темного окна, за которым клубились ранние предзвездные сумерки, да плескалась за деревьями черная мстинская вода, и оставили один на один с черным провалом окна, с тоской и болью одиночества. Колено нестерпимо ныло.

- Что, больно? – участливо спросил, подходя ко мне, грузный седой старик в мешковатом больничном одеянии. – На, вон, винограду поешь. Мать принесла, пока там тебя... оперировали.

И протянул мне гроздь синего винограда. Я принял ее от него, как награду за терпение, отвернулся к окну, и, ничего не видя перед собой, глотал крупный прохладный виноград, глотая вместе с ним горячие детские слезы.

Виноград стал для меня с тех пор синонимом последних детских слез.

«Когда ешь вишни, кажется, что идет дождь». Эту фразу Юрия Олеши я вспоминаю всякий раз, когда вспоминаю и тот холодный вечер, и тот холодный виноград...

В палате я был самым юным, и мужики поначалу стеснялись при мне разговаривать откровенно, хотя поговорить откровенно им, лежащим в больнице долго, конечно же, хотелось...

- Что читаешь? – спросил как-то, подойдя к моей тумбочке высокий, хмурого вида, мужик, отчаянно боявшийся уколов. – «Пятнадцатилетний капитан» - нашел что читать! Выдумки все это. Вот жизненная книга. И он потряс над головой потрепанный томик Флобера.

«Мадам Бовари» - прочитал я незнакомое название. Рассказы мужиков были похожи на сказки... А рассказывали они, всяк по своему, о первой любви...

Я трясся в питерском трамвае, то и дело поднимая глаза от книги, которую читал тогда... Это была «Дорога никуда» Грина. Книга нравилась мне своей мрачноватой таинственностью, которую я примерял к собственной жизни, совсем не похожей на жизнь Орта Галерана, «человека лет сорока, прямого, худого, крупно шагающего...» В Галеране меня смущала трость черного дерева и широкополая белая шляпа. Я не мог представить себя в белой шляпе с черной тростью в руке. Но он, как и я, любил книги, он много читал...

Сказать, что я читал много, значит, ничего не сказать. Я читал всюду, везде, погружаясь в сладостный и прекрасный мир приключений, в мир погонь и перестрелок, в мир

неведомых мне запахов и звуков... Скрежет якорной цепи и портовой лебедки, резкое, как удар бича, хлопанье парусов, журчанье воды под килем, шум прибора... А запахи, какие запахи источал этот таинственный мир! Запах дорогого трубочного табака (Галеран курил трубку), запах пеньки и манильского троса, запах ямайского рома и настоящего шотландского виски... Я не имел ни малейшего понятия, как пахнут эти восхитительные вещи, но запахи эти будоражили мое воображение...

Август 68 года. Ленинград. Огромные фанерные щиты с рекламой фильма «Журналист», который шел тогда во всех кинотеатрах, но я, занятый собой и своими переживаниями, так его тогда и не посмотрел. Остановился я у Витьки Семисотова, а точнее у его родни, жившей в коммунальной квартире на Невском проспекте... В крохотной комнатухе с видом на питерские крыши и дворы, кроме нас с Витькой, ютились хозяева (муж и жена) и их молодая красивая дочь с зятем, тоже красивым, но глупым и самонадеянным парнем, говорившим с украинским акцентом... Что читал я тогда? А читал я «Бегущую по волнам» Александра Грина.

Перечитал «Дворянское гнездо» и вспомнил, как читал Тургенева в Польше, когда служил в армии. Как, отрывая глаза от книги, вместо Лизы Калитиной, Лаврецкого и старика Лемма видел совершенно равнодушных к их судьбе товарищей по оружию, занятых своими делами.

И опять я склонялся к книге, и перед мысленным взором моим вновь оживала давно забытая, давно ушедшая жизнь с тенистыми парками и затянутыми ряской прудами, со скучающими барышнями и тоскующими незнамо о чем русскими помещиками...

И мерещилось мне, что это в меня, а не в Лаврецкого, влюблена трепетная Лиза, и это ко мне, а не к нему дождливым вечером она вышла на балкон, и не ему, а мне адресованы ее полные скрытого душевного огня улыбки и взгляды...

И я забывал о том, что живу веком позже, что на моих плечах не дворянский сюртук, а гимнастерка с погонами рядового Советской Армии... Что рядом со мной не бедняга Лемм, вынужденный доживать свои дни на чужбине, а полные сил и нерастроченной энергии парни из Куйбышева, Новгорода, Махачкалы, Фрунзе и Чарджоу.

Но всех нас роднило то, что каждый из нас, как бы он ни храбрился, скучал по оставленному где-то далеко дому. Польша была для нас такой же чужбиной, какой была для старика Лемма холодная и непонятная Россия.

Читаю биографию Чехова Анри Труайя. Книга написана безжалостно, но любопытно, без русской снисходительности, с нерусской обстоятельностью в том, что касается темных сторон биографии Чехова. Суховатый, надменно академический стиль перемежается с неуместной часто беллетризацией, которая иногда проявляется в довольно нелепых оборотах, вроде: «кутаясь в верхнюю одежду»... Впрочем, может быть, это недостатки не столько автора, сколько переводчика...

Читаю, и в памяти попутно вспыхивают собственные воспоминания, которые надо бы записывать, хотя бы пунктирно...

«Зимой, когда от холода тускнеет лицо... хорошо думать о лете, потому что летом тепло». Так писал Грин о двадцати семи градусах мороза. Сегодня у нас 37 градусов. Такой стужи давно не было в наших краях.

В мрачноватом моем кабинете, освещенном желтым январским солнцем, тепло, и мне кажется, что тепло не только у меня, тепло во всем Божьем мире. Как, оказывается,

благословенны обыкновенные житейские радости, когда ты лишаешься их хотя бы на время. А вообще-то холодно у нас, и от холода некуда деться.

Промерзшие стены стандартной панельной пятиэтажки, в которой я живу, высасывают жалкое квартирное тепло, как мощные насосы мистера Бейли из романа Александра Беляева «Продавец воздуха», высасывали из атмосферы кислород. Почему-то вспомнился мне этот жутковатый роман, прочитанный в детстве. В детстве я прочитал столько, сколько уже не прочитаю до конца дней своих.

«Дождь мелко сеется, да долго тянется» - вспомнилась мне услышанная от мамы поговорка. Дождь льет сегодня весь день. В такую погоду, если некуда спешить, хорошо работается. Если настроиться на работу утром. Но утром надо идти в больницу, терпеливо ждать, когда закончатся предписанные врачами процедуры. Чтобы скоротать время читаю на больничной койке Набокова. Писать после Набокова тяжело: кажется, что точнее и лучше просто не скажешь. Правда, в прозе его (особенно в прозе) всегда присутствует холодок стороннего наблюдателя. Он решителен и безжалостен, как хороший хирург.

А читал я, краем глаза поглядывая, как кровь моя перетекает в стеклянную бутылку, а потом из бутылки возвращается назад, его заметки о Гоголе. И еще смотрел в окно, за которым клубились низкие тучи, и яблонева ветка покачивалась от ветра.